

Л. А. ДМИТРИЕВ

## Нерешенные вопросы происхождения и истории экспрессивно-эмоционального стиля XV в.

Для правильного понимания истории развития древнерусской литературы принципиально важное значение имеет вопрос о взаимосвязях древнерусской литературы с литературами южных славян. В этой большой проблеме может быть выделен более частный вопрос — так называемое второе южнославянское влияние на русскую литературу и культуру в конце XIV—XV в.

Проблемы взаимосвязей древнерусской литературы с южнославянскими литературами находили в литературоведении различное решение. Многие исследователи считали, что в определенные исторические периоды южнославянские литературы оказывали очень сильное одностороннее влияние на развитие древнерусской литературы. Так, А. И. Соболевский, характеризуя самый ранний период древнерусской литературы, в частности, говорил: «Как известно, русская литература получила начало от литературы южнославянской (древнеболгарской) и первые ее памятники, за немногими исключениями, — не более как списки с памятников южнославянских».<sup>1</sup>

Иной подход к решению вопросов русско-южнославянских литературных связей наметился в ряде статей М. Н. Сперанского. Отдавая должное воздействию южнославянских памятников письменности на развитие русской литературы, он вместе с тем на ряде конкретных примеров показал, что южнославянские литературы, влияя на развитие русской литературы, в свою очередь немало и сами заимствовали из древнерусской литературы. Заканчивая одну из статей по этой теме, он писал: «В результате же всего нашего обзора можно сделать и еще более общий вывод: говоря об отношениях русской литературы раннего периода и югославянских, мы должны говорить не только о югославянском влиянии в русской литературе, но и о взаимоотношениях, в смысле обмена, в обеих литературах».<sup>2</sup>

В последнее время вопросы о характере и сущности русско-южнославянских литературных связей подверглись пересмотру в ряде литературоведческих работ.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> А. И. Соболевский. Южнославянское влияние на русскую письменность в XIV—XV веках. — В кн.: А. И. Соболевский. Переводная литература Московской Руси XIV—XVII веков. СПб., 1903 (далее: А. И. Соболевский), стр. 6—7.

<sup>2</sup> М. Н. Сперанский. К истории взаимоотношений русской и югославянских литератур (русские памятники письменности на юге славянства). — В кн.: М. Н. Сперанский. Из истории русско-славянских литературных связей. М., 1960, стр. 54.

<sup>3</sup> Д. С. Лихачев. 1) Некоторые задачи изучения второго южнославянского влияния в России. М., 1958 (далее: Д. С. Лихачев. Некоторые задачи); 2) Культура

Статья И. С. Дуйчева «Центры византийско-славянского общения и сотрудничества», непосредственно не посвященная данной теме, имеет тем не менее методологически важное значение для решения вопросов межславянских литературных связей. На обширном фактическом материале автор показал, что нельзя рассматривать византийско-славянские культурные и литературные взаимоотношения только с точки зрения одностороннего влияния Византии на славянство. Как южные, так и восточные славяне играли весьма значительную роль в формировании той культуры, которую мы называем византийской. «Византийская культура во многих отношениях составляет существенную часть средневековой истории южных и восточных славян, которые приняли участие в ее создании и развитии как в пределах империи, так и в своих собственных землях, попавших в сферу византийской культурной общности».<sup>4</sup> В монастырях Константинополя, Солуни, Святой Горы, являвшихся культурными центрами той поры, славяне, как южные, так и восточные, и представители греческого духовенства «обменивались друг с другом своими литературными произведениями или же переводили произведения византийской литературы»;<sup>5</sup> «Афон всю эпоху средневековья, а также и в более поздние века турецкого владычества был центром оживленной литературной деятельности известных и неизвестных славянских писателей, которые работали здесь в тесном сотрудничестве друг с другом и с представителями византийской культуры».<sup>6</sup> Таким образом, мы, по существу, не в праве говорить о влиянии одной славянской литературы на другую: в таких центрах культурного общения, как Константинополь, монастыри Афона, где подолгу жили многие писатели средневековой Руси и южнославянских стран, формировались какие-то общие философские, лингвистические, стилистические взгляды, каноны и требования. Эти общие идеи, созданные в тесном сотрудничестве представителей разных славянских народов, на национальной почве находили самобытное преломление.

В. А. Мошин, считающий, что Д. С. Лихачев связывает происхождение нового южнославянского агиографического стиля только с Болгарией и в первую очередь с именем патриарха Евфимия,<sup>7</sup> замечает: «Нам это представление кажется в значительной мере односторонним. Прежде всего потому, что именно для XIII и XIV вв. наиболее характерной чертой в области южнославянской письменности является чрезвычайно близкая связь между сербской и болгарской культурной жизнью... Сами основатели болгарской филологическо-реформаторской школы — патриарх Евфимий и его учитель Феодосий Тырновский — были по своему воспитанию святогорцы, т. е. жили и трудились в кругу тех же философских и религиозных идей, а конечно, и литературных концепций, как и остальное святогорское монашество, в частности как хиландарская литературная школа той эпохи, деятельность которой нам неизмеримо более известна, нежели литературные труды в стенах болгарского Зографа».<sup>8</sup>

Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого (конец XIV—начало XV в.). М.—Л., 1962 (далее: Д. С. Лихачев. Культура Руси); В. П. Адрианова-Перетц. Древнерусские литературные памятники в югославянской письменности. — ТОДРА, т. XIX. М.—Л., 1963, стр. 5—27; В. А. Мошин. О периодизации русско-южнославянских литературных связей X—XV вв. — ТОДРА, т. XIX. М.—Л., 1963 (далее: В. А. Мошин), стр. 28—106; И. С. Дуйчев. Центры византийско-славянского общения и сотрудничества. — ТОДРА, т. XIX. М.—Л., 1963 (далее: И. С. Дуйчев), стр. 107—129.

<sup>4</sup> И. С. Дуйчев, стр. 109.

<sup>5</sup> Там же, стр. 117.

<sup>6</sup> Там же, стр. 126.

<sup>7</sup> В. А. Мошин, стр. 93.

<sup>8</sup> Там же.

Едва ли В. А. Мошин прав, говоря, что Д. С. Лихачев относит возникновение нового южнославянского стиля только к Болгарии и ко времени патриарха Евфимия. Именно Д. С. Лихачев наиболее развернуто обосновал мысль о том, что так называемое второе южнославянское влияние на Руси в конце XIV—XV в. представляет собой не одностороннее воздействие одной культуры на другую, а такое культурное явление, которое было обусловлено внутренними потребностями, развитием славянских стран в этот исторический период.<sup>9</sup> Но для нас в данном случае важно не то — прав или неправ В. А. Мошин в своей оценке положений Д. С. Лихачева. Предположение В. А. Мошина о большом значении сербской литературной традиции в развитии стиля второго южнославянского влияния заслуживает всяческого внимания, но если бы эта мысль была единственной в его высказывании, мы могли бы также обвинить автора этого высказывания в односторонности, но главное и существенное заключается здесь в другом. Наиболее плодотворным и справедливым нам представляется высказывание В. А. Мошина о той большой роли, которую сыграли традиции Афона, своеобразной межславянской монашеской республики, в формировании философского мировоззрения и литературных концепций основателей болгарской филологическо-реформатской школы. Таким образом, различные взгляды на роль болгарской и сербской литературных традиций в формировании того стиля, под которым мы подразумеваем стиль второго южнославянского влияния, лишь подтверждают справедливость высказываний И. С. Дуйчева о том, что в центрах византийско-славянского общения в формировании философских идей, эстетических и литературных вкусов, становившихся общеславянским достоянием, посильную роль играли как представители греческой культуры, так и представители южного и восточного славянства.

Мы постараемся наметить те главные задачи, которые стоят перед исследователями того раздела русской агиографии, возникновение которого традиционно связывается со вторым южнославянским влиянием, раздела, в котором сформировался русский вариант «экспрессивно-эмоционального» стиля.

Первая задача в разработке этой темы — выяснить по рукописным собраниям, какие переводы византийских житий, созданных исихастами, и какие жития, написанные южнославянскими последователями исихазма, дошли до русского читателя, известны в русских списках, знакомство же с какими могло произойти только во время путешествий русских в Константинополь, на Афон или в южнославянские монастыри. В связи с этим вопросом заслуживают внимания статистические подсчеты С. Н. Смирнова,<sup>10</sup> который, наблюдая над упоминаниями южнославянских святых в русских рукописях, сделал ряд любопытных выводов. Просмотрев 33 описания рукописей (16 284 единицы), автор обнаружил, что имена южнославянских святых встречаются в 282 рукописях. Начиная с XIII в. по конец XV—начало XVI в. южнославянские святые упоминаются в 34 рукописях, в XVI в. — в 122 рукописях, в XVII — в 99. Как видим, на период второго южнославянского влияния приходится наименьшее

<sup>9</sup> Д. С. Лихачев. Некоторые задачи, стр. 63.

<sup>10</sup> С. Н. Смирнов. Сербские святые в русских рукописях. — В кн.: Юбилейный сборник Русского археологического общества в королевстве Югославии. К 15-летию Общества. Белград, 1936, стр. 161—264. Выражаю благодарность Ю. К. Бегунову, указавшему мне эту статью.

число русских рукописей, в которых встречаются имена южнославянских святых. Разумеется, необходимо учитывать фактор сохранности рукописей, элементы случайности, однако пренебрегать статистическим методом в рассмотрении этого вопроса тоже нельзя. Работа С. Н. Смирнова, на наш взгляд, требует продолжения и углубления. К подсчету необходимо привлечь не 33 описания, которыми располагал автор, находясь в Югославии в 1930-х годах, а все доступные печатные и рукописные описания крупнейших рукописных собраний Советского Союза. Следует учесть состав тех рукописей, в которых встречаются имена южнославянских святых. Необходимо проанализировать статистические данные о времени и характере распространения рукописей южнославянского извода на русскую почву. Думается, что данные, полученные путем подсчетов, помогут в решении многих вопросов, связанных с изучением второго южнославянского влияния.

Каковы же основные признаки, которые принято считать определяющими стиль южнославянской агиографии исихастского направления? Прежде всего строгое соблюдение сюжетной схемы, одинаковой для любого жития: 1. Риторическое вступление, в котором автор рассуждает о необходимости восхвалять жизнь и подвиги святого и говорит о бедности и беспомощности своего литературного таланта, слишком слабого, чтобы по достоинству восхвалить того святого, о котором будет рассказывать житие. 2. Собственно повествовательная часть, посвященная жизни святого со дня его рождения и до смерти. 3. Рассказы о чудесах, совершившихся после смерти святого у его гроба, от его мощей, при молитвенных обращениях к святому. 4. Заключение — риторическое похвальное слово в честь святого. Но не эта сюжетная рамка является основным признаком южнославянской агиографии данного направления. Основное — это риторичность южнославянских агиографических текстов: многочисленные цитаты из книг священного писания, риторические отступления автора в ходе повествования в виде рассуждений морально-богословского характера по поводу рассказанного случая из жизни святого, многократное употребление разнообразных эпитетов и сравнений, словесные ухищрения, стремление изгонять из языка обыденную терминологию и просторечные выражения, усиленное употребление книжной лексики, синтаксические и фразеологические кальки с греческого. Основатель научного изучения в России памятников житийной литературы В. О. Ключевский считал, что именно эти особенности южнославянской агиографии во время второго южнославянского влияния оказали отрицательное воздействие на русские жития. Стремление к риторической украшенности житий, употребление общих шаблонных мест, обращение внимания в первую очередь на «житийный» характер описываемых эпизодов из жизни святого, а не на действительные исторические факты — все это, по мнению В. О. Ключевского, значительно обезценило историческую значимость памятников житийной литературы. На наш взгляд, в такой оценке развития житийного жанра сказался специфический подход В. О. Ключевского к житиям — прежде всего они интересовали его как исторические источники.<sup>11</sup> Однако не только В. О. Ключевский отрицательно оценивал особенности развития русской агиографии после второй половины XIV в. Столь же

<sup>11</sup> В. О. Ключевский. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871 (далее: В. О. Ключевский).

отрицательную оценку, а подчас и более резкую давали русским житиям, написанным в стиле второго южнославянского влияния, и историки русской церкви, и историки древнерусской литературы. Так, например, А. С. Орлов, характеризуя особенности второго южнославянского влияния в агиографии, соглашался с тем, что под влиянием южнославянских житий в севернорусской агиографии появились произведения, отличающиеся изысканностью фразеологии и пышностью стиля, в которых вместе с тем снизилась историчность, реальность содержания. Но, по мнению А. С. Орлова, «несмотря на то, что и югославянские и русские жития этого риторического типа имеют общие черты, в комплексе этих черт заметна большая разница. Русские жития риторического типа в массе более бессодержательны и шаблонны и неразборчивы в пользовании тропами и фигурами».<sup>12</sup> Как видим, А. С. Орлов давал русским житиям, написанным в стиле второго южнославянского влияния, более низкую оценку не только по сравнению с предшествующими русскими житиями, но и по сравнению с южнославянскими, считавшимися образцами для древнерусских. Думается, однако, что вопрос этот гораздо сложнее и ждет еще обстоятельного исследования. Как справедливо отмечает Д. С. Лихачев, в основе явлений русской литературы, объясняемых вторым южнославянским влиянием, лежали внутренние причины, обусловленные развитием русского общества, и оценивать изменения в литературе, связываемые со вторым южнославянским влиянием, как какое-то отступление, замедление в развитии русской литературы, как эпигонство у нас нет никаких оснований.<sup>13</sup> Если подходить к житиям только с точки зрения их ценности для нас как исторического источника, то бесспорно В. О. Ключевский прав, когда сетует, что жития XIV—XV вв. за счет усиления риторичности, увлечения общими местами теряют свою историческую ценность. Если видеть в риторичности, в словесной изощренности только недостаток, то жития периода второго южнославянского влияния должны быть признаны более несовершенными, чем предшествующие им агиографические произведения, отличающиеся большей простотой и лаконичностью и полнее отражающие исторические события. Но если подходить к этим явлениям с точки зрения не источниковеда, а литературоведа, то мы должны иначе оценивать изменения, возникшие в агиографическом жанре в конце XIV—XV в. Уменьшение историчности житий в плане отражения в них действительных фактов из жизни святого наряду с обострением внимания к форме произведения, к его языку свидетельствуют об изменении литературных требований, литературных вкусов. А это в свою очередь говорит о том, что жития нельзя расценивать лишь с точки зрения их церковно-религиозного значения, а необходимо подходить к ним и изучать их как памятники древнерусской литературы. Давая же литературную оценку житиям периода второго южнославянского влияния, необходимо учитывать в первую очередь то, как относились современники к изучаемым нами памятникам. В этом отношении очень показательна оценка, которую дал летописец «Житию Михаила Клопского» в Тучковской редакции: «И преже бо написано бысть, но непрестанно и неявленно, сиречь велми просто, понеже бо егда сего святаго Михаила явление бысть и житие и чудеса, тогда человецы в Новеграде еще быша не велми искусни божественнаго писания. Сей же вышереченный Василей (Тучков, — Л. Д.), по благословению пресвященнаго архиепископа Макария, ветхая понови и распростири явление, житие и чудеса преподобнаго, и все по чину по-

<sup>12</sup> А. С. Орлов. Древняя русская литература XI—XVII веков. М.—Л., 1945, стр. 209—210.

<sup>13</sup> См.: Д. С. Лихачев. 1) Некоторые задачи; 2) Культура Руси.

стави и велми чюдно изложи; и аще кто прочет сам узрит, како ветхая понови и колми чюдно изложи».<sup>14</sup> Для читателя XVI в. житие, построенное «по чину», изложенное «чюдно», т. е. с обильным употреблением риторических троп и фигур, казалось эстетически более высоким, чем безыскусственный живой рассказ первоначальных редакций этого жития.

Справедлив ли упрек А. С. Орлова по адресу древнерусских житий в том, что по своим литературным достоинствам в массе своей они стоят ниже южнославянских? Нам представляется, что уже сама по себе такая постановка вопроса не совсем закономерна. Поскольку так называемое второе южнославянское влияние — явление не только внешнее, но объясняется и внутренними причинами развития русского общества, нельзя рассматривать и сопоставлять памятники русской агиографии только с южнославянскими, необходимо более тщательно исследовать связь русских житий XIV—XV вв. с предшествующими им русскими же житиями, в частности с житийными памятниками Киевской Руси. Такое сопоставление для данного периода необходимо тем более, что в это время в Северо-Восточной Руси значительно усилился и возрос интерес к Киевскому периоду русской истории.<sup>15</sup>

Кроме того, едва ли есть достаточно веские основания утверждать, что в большинстве своем русские жития периода второго южнославянского влияния по своим литературным достоинствам стоят ниже южнославянских. Как среди одних, так и среди других встречаются произведения более сильные и более слабые, жития, написанные мастерами своего дела и их эпигонами.

В деле перенесения на Русь приемов южнославянского агиографического стиля большая роль приписывалась южнославянским эмигрантам, пришедшим в Россию в конце XIV—начале XV в. В частности, первым наиболее значительным представителем второго южнославянского влияния в области древнерусской агиографии считался митрополит Киприан. Киприаном было написано «Житие митрополита Петра». Это житие обычно расценивалось как первое русское житие, написанное в традициях второго южнославянского влияния, ставшее исходным образцом для всей последующей русской агиографии. Однако тщательный анализ этого жития в сопоставлении его с более ранним «Житием Петра», послужившим основой для сочинений Киприана, показал, что киприановское «Житие Петра» по своему стилю отнюдь не является житием в духе второго южнославянского влияния и признавать это житие образцом последующих произведений русской агиографии у нас нет достаточных оснований.<sup>16</sup>

После киприановского «Жития Петра» появились агиографические творения Епифания Премудрого. Признавая бесспорную талантливость Епифания, говоря о наличии в его житиях элементов самобытности и оригинальности, все исследователи тем не менее считают, что жития, созданные Епифанием, являются образцами житий в духе второго южнославянского влияния. А. С. Орлов в своих лекциях по древнерусской литературе, на-

<sup>14</sup> ПСРА, т. VI. СПб., 1853, стр. 301.

<sup>15</sup> Д. С. Лихачев. Культура Руси, стр. 19.

<sup>16</sup> См.: Л. А. Дмитриев. Роль и значение митрополита Киприана в истории древнерусской литературы (к русско-болгарским литературным связям XIV—XV вв.). — ТОДРАЛ, т. XIX. М.—Л., 1963, стр. 215—254.

пример, так говорил о Епифании: «Среди группы писателей, введших этот стиль (южнославянский, — Л. Д.) в агиографию России, называют обыкновенно двух югославянских выходцев, русского митрополита конца XIV—начала XV в. Киприана... затем Пахомия, также серба, афонского монаха, жившего в России с конца 30-х годов по 80-е годы XV в. Одним из первых последователей того же стиля является русский монах Епифаний, прозванный Премудрым (конец XIV—20-е годы XV в.)».<sup>17</sup> С. А. Бугославский дает следующую общую характеристику Епифанию: «Способнейшим учеником югославянских агиографов и в то же время своеобразным самостоятельным писателем, продолжателем русских исторических и художественных традиций в житийном жанре был Епифаний».<sup>18</sup>

Таким образом, ключевой, центральной проблемой в изучении русской агиографии, связываемой со вторым южнославянским влиянием, является анализ особенностей творчества русского писателя конца XIV—начала XV в. — Епифания Премудрого.

Нам известны два сочинения Епифания: «Житие Стефана Пермского» и «Житие Сергия Радонежского». До сих пор не проведено полного текстологического изучения дошедших до нас списков этих произведений Епифания и нет действительно научного издания сочинений этого писателя. А без этого любые наши рассуждения о характере творчества Епифания не могут претендовать на полноту и окончательную убедительность. Как показал В. П. Зубов,<sup>19</sup> на основе имеющихся изданий «Жития Сергия» мы не можем составить достаточно точного представления о епифаниевском тексте этого жития. Следовательно, текстологическая обработка всего рукописного материала, связываемого с именем Епифания, является одной из важнейших задач не только в изучении творчества этого писателя, но и в исследовании русского агиографического стиля периода второго южнославянского влияния.

Прежде чем характеризовать сочинения Епифания со стороны взаимоотношений их с южнославянскими памятниками агиографии, необходимо рассмотреть, что в его произведениях объясняется традициями, идущими от памятников житийного жанра Киевской Руси. Уже некоторые предварительные наблюдения над творчеством Епифания, которые мы как завявку на более подробную разработку данной темы приводим далее, не позволяют объяснять особенности творчества Епифания целиком влиянием южнославянских житий, а свидетельствуют о значительной роли в его творчестве традиций русской агиографии и о большом значении в его творчестве индивидуального писательского мастерства.

Сопоставим агиографические произведения Епифания Премудрого с житиями, написанными наиболее близким ему по времени общепризнанным мастером южнославянского агиографического стиля — Евфимием Тырновским. Известные в настоящее время жития Епифания Премудрого созданы: «Житие Стефана Пермского» — в конце 90-х годов XIV в., а «Житие Сергия Радонежского» — в 1417—1418 гг. Евфимий Тырновский мог писать свои жития между 70—90-ми годами XIV в.: в 1371 г. он возвратился в Болгарию с Афона, в 1375 г. — стал Тырновским патриархом, в 1393 г. Тырнов был покорен турками, а Евфимий изгнан; умер он, как предполагают, в 1402 г.

Все четыре жития, написанные Евфимием Тырновским (Иоанна Рыльского, Илариона Мегленского, Петки, Филофеи), построены по одинако-

<sup>17</sup> А. С. Орлов. Древняя русская литература XI—XVII веков, стр. 240.

<sup>18</sup> История русской литературы, т. II, ч. 1. М.—Л., 1945, стр. 235.

<sup>19</sup> В. П. Зубов. Епифаний Премудрый и Пахомий Серб. (К вопросу о редакциях «Жития Сергия Радонежского»). — ТОДРА, т. IX. М.—Л., 1953, стр. 145—158.

вому, строго «агиографическому» плану: 1) риторическое вступление; 2) повествование о жизни святого, заканчивающееся рассказом о его смерти (во всех житиях, кроме «Жития Илариона Мегленского», много внимания уделяется рассказу о праведной жизни святого в пустыне); 3) посмертные чудеса и история мощей святого; 4) похвальное слово святому, в котором Евфимий обращается к восхваляемому святому с мольбой защищать от всех бед Болгарию.

Оба жития Епифания Премудрого в целом строятся по такой же сюжетной схеме, но у него отсутствуют рассказы о посмертных чудесах, об истории мощей, что в какой-то степени нарушает обязательное правило житийного жанра.

Нельзя, однако, считать, что сюжетная житийная схема в том виде, как мы ее находим во всех житиях Евфимия Тырновского, создана мастерами южнославянской агиографии. Схема эта восходит к ранним образцам византийской агиографии, по такой же схеме были написаны уже самые ранние русские оригинальные жития — Несторово «Чтение о Борисе и Глебе» и его же «Житие Феодосия Печерского». Таким образом, говоря о том, что с конца XIV в. севернорусские жития начинают строиться по строго определенному плану, характерному и для южнославянских житий, мы совсем не обязательно должны видеть в этом подражание южнославянским житиям; достаточно яркие образцы имела и собственная русская агиография.

Риторичность, патетика, любовь к многочисленным эпитетам и сравнениям, широкое привлечение библейских образов в житиях Епифания Премудрого вполне сопоставимы с таковыми в житиях Евфимия Тырновского, но имеется и ряд особенностей, характерных как для одного, так и для другого агиографа.

Прежде всего необходимо отметить бóльшую строгость, выдержанность во всем у Евфимия. Это проявляется уже в объеме текстов: все четыре жития Евфимия, почти равные по величине (немного более других «Житие Илариона Мегленского»), невелики, что явно рассчитано на то, чтобы не утомить читателя или слушателя. Совершенно иного характера в этом отношении жития Епифания Премудрого: «Житие Стефана Пермского» и «Житие Сергия» весьма пространны. Как считает В. О. Ключевский, епифаниевское «Житие Сергия» было позже переделано Пахомием Сербом потому, что для чтения в церкви или на трапезе «житие, написанное Епифанием, было слишком обширно».<sup>20</sup> В противоположность Евфимию Епифаний как бы не думает о служебном назначении своего труда, а стремится изложить все, что он считает нужным сказать о восхваляемом им святом: «...восхищение переполняет душу писателя, и слова льются неудержимо и страстно, как бы произвольно, вопреки авторскому сознанию своей беспомощности».<sup>21</sup> Нам кажется, что это очень существенная сторона творчества Епифания: он подходил к своим творениям не как к текстам церковно-служебного назначения. Об этом же свидетельствует и характер риторичности епифаниевых житий. Риторичность, панегирически-патетический тон — характерные признаки евфимиевских житий. Но и здесь Евфимий старается держаться в строгих рамках. Даже в наиболее пространной и самой пышной похвале Петке он все же сравнительно умерен: «Добре прииде христова краснаа невесто, чистаа голубице, позлащеннаа светымь духомь, девьственаа похвало, пустынножителнице, аггеломь събеседнице, добродетели раю, чистоты крас-

<sup>20</sup> В. О. Ключевский, стр. 119.

<sup>21</sup> О. Ф. Коновалова. К вопросу о литературной позиции писателя конца XIV в. — ТОДРА, т. XIV. М.—Л., 1958, стр. 207.

ный доме... Ты истиннаго жениха чьстнаа невеста, ты еси кринь обретенный въ тръни, тебе роды чловечьсции блажеть, яко своему последовала еси жениху. Ты заступница сущимъ въ бедахъ, обуреваемымъ пристанище; твоя рака благодетные точить струе, бесовские отганяеть плыки; твоя цркъвовь недугомь отгнание, слепымъ прозрение, прокаженнымъ очищение»<sup>22</sup> и т. п. Иного характера риторичность Епифания Премудрого: это риторичность, которая как бы исходит от тех чувств, которые охватывают автора, когда он начинает говорить о своем герое. В знаменитых епифаниевских перечислениях однородных членов, когда он, характеризуя описываемого святого, подбирает до 25 однородных эпитетов, видно стремление автора как можно полнее выразить охватывающие его чувства. В этом, как нам кажется, существенное и принципиальное отличие епифаниевской риторики от риторики южнославянских агиографов. Сам Епифаний определил свой стиль как «плетение словес». К сожалению, очень часто этот эпитет «плетение» воспринимается чисто формально, с каким-то отрицательным оттенком, что глубоко неверно. Все дело в том и заключается, что это не плетение ради плетения, что за этой риторичностью лежит глубокое, искреннее чувство любви и восхищения автора своим героем. И делал это поистине великий мастер и знаток языка. Достаточно привести хотя бы одну, взятую наугад риторическую фигуру Епифания из «Жития Стефана Пермского»: «...ныне же, после всех и надо всеми сими, и вконецъ слову тяга а ся есть с тобою словесы и не утягал, но сам утяган есть, спирался о вере и не упрел, но и сам пререн бысть, и змагался, да не измогл, но и сам побежен бысть, и всюду посрамлен есть и всячески поруган бысть»,<sup>23</sup> чтобы убедиться в том, насколько тонко и искусно пользовался словом этот писатель конца XIV—начала XV в. Именно эту особенность риторики Епифания Премудрого Д. С. Лихачев очень удачно сблизил с творческой манерой современника Епифания— Андрея Рублева, возводя лиричность обоих к русским традициям: «И плачи, и внутренний монолог, и известная ритмичность речи были характерны уже для домонгольской литературы; в ней же присутствовало и то сильное лирическое начало, которое при всей монументальности домонгольского литературного стиля широко давало себя знать и в „Слове о законе“ Илариона, и в произведениях Кирилла Туровского. Епифаний весь замкнут в мягких плавных линиях орнаментальной ритмической речи. Нечто подобное видим мы и в творчестве Андрея Рублева: красочная гамма его зависит от владимиросуздальской живописи домонгольской поры, он мягче, лиричнее Феофана Грека».<sup>24</sup>

Как отмечает болгарский исследователь, «предметом своих житий Евфимий избирает лиц, которые были болгарами по происхождению или связаны с Болгарией, болгарской столицей, болгарским прошлым».<sup>25</sup> «В житиях Евфимия особое место занимает рассказ о мощах святого, в котором Евфимий показывает свой интерес к болгарскому прошлому и дает выражение своим народным чувствам и патриотическому настроению».<sup>26</sup> В сущности, именно в этих моментах и заключается наибольшая историчность житий Евфимия, исторические же факты из жизни святого сами по

<sup>22</sup> Werke des Patriarchen von Bulgarien Euthymius. Nach den Besten Handschriften herausgegeben von Emil Kalužniacki. Wien, 1901 (далее: Сочинения Евфимия Тырновского), стр. 73.

<sup>23</sup> Памятники старинной русской литературы, вып. IV. СПб., 1862, стр. 145. Далее все цитаты из «Жития Стефана Пермского» даются по этому изданию, страницы указываются в скобках в тексте.

<sup>24</sup> Д. С. Лихачев. Культура Руси, стр. 165.

<sup>25</sup> П. Диневков. Стара българска литература, втора част. София, 1953, стр. 61.

<sup>26</sup> Там же, стр. 71.

себе интересовали его мало. Характеризуя «Житие Иоанна Рыльского», П. С. Динеков пишет: «Евфимий довольствуется весьма общим рассказом, без многочисленных конкретных деталей, даже, в отличие от народных легенд, не связывая место действия с определенным географическим пунктом, избегая также местных географических названий. Отдельные эпизоды, данные без подробностей, послужили поводом для бесконечных обобщений богословско-исихастского характера».<sup>27</sup>

И в этом отношении Епифаний Премудрый отличается от Евфимия: в его житиях гораздо больше исторических конкретных фактов. Герои Евфимия, их судьба и поступки являются, по существу, предлогом для его риторически-морализирующих рассуждений на темы исихазма, борьбы с ересями. Особенно показательны в этом отношении «Житие Илариона Мегленского», основная часть которого представляет собой противоеретический трактат, а не рассказ о жизни святого. Для Епифания и Стефан, и Сергей — живые люди, которых он к тому же знал лично, поэтому они предстают в его житиях конкретными, живыми людьми. И в тех случаях, когда Епифаний посвящает свой рассказ каким-то конкретным эпизодам из жизни описываемых им святых, эта черта проявляется особенно ярко. В «Житии Сергия», например, живо и выразительно объяснены причины, почему родители Сергия вынуждены были уйти из Ростова, рассказано о начале пустынножительства Сергия и росте его монастыря, в «Житии Стефана» находим насыщенное фактами повествование о его миссионерской деятельности, о борьбе с Памом. Подобных эпизодов, воспроизводящих события действительной жизни, в обоих житиях немало.

Историчность, конкретность во времени с одновременным обобщением того или иного события в житиях Епифания достигается оригинальным приемом, близким к системе народной датировки,<sup>28</sup> — обозначением даты по событиям мировой и русской истории. «Когда же се бысть, или в кое время? И недавно, но яко мною от создания миру в лето 6883, в царство Иоана царя греческаго, во Цареграде царствовавшаго, при архиепископе Филофее, патриарсе Костянтина града, в Орде же и в Сарай над татары тогда Мамай царствует, но не вечнует абие, на Руси же при велищем князи Дмитреи Ивановичи, архиепископу же митрополиту не сущу на Руси в ты дни никому же, но ожидающим митрополича пришествия от Царяграда, его же бог дастъ» («Житие Стефана Пермского», стр. 154); «Хошу же сказати времена и лета, в ня же преподобнии родися: в лета благочестиваго преславнаго дръжавнаго царя Андроника самодръжца Гречьскаго, иже в Цари граде царствовавшаго, при архиепископе Коньстянтина града Калисте, патриарсе вселеньском, в земли же Русстеи в княжение великое Тферьское при великом князи Димитрии Михайловиче, при архиепископе пресвященнемъ Петре митрополите всея Руси, егда рать Ахмулова (бе)».<sup>29</sup>

Характеризуя особенности стиля второго южнославянского влияния, Д. С. Лихачев пишет: «Язык высокой, церковной литературы средневековья обособлен от бытовой речи, и это далеко не случайно. Это — основное условие стиля „высокой“ литературы. „Иной“ язык литературы должен был быть языком приподнятым и в известной мере абстрактным. Привычные ассоциации высокого литературного языка средневековья характерны тем, что они отделены от обыденной речи, возвышены над нею

<sup>27</sup> Там же, стр. 63.

<sup>28</sup> См.: История русской литературы, т. II, ч. 1, стр. 237.

<sup>29</sup> Житие преподобного Сергия чудотворца и похвальное ему слово, написанные учеником его Епифанием Премудрым в XV веке. Сообщил архимандрит Леонид. СПб., 1885, стр. 22. Далее все цитаты из «Жития Сергия» даются по этому изданию, страницы указываются в скобках в тексте.

и оторваны от конкретного быта и бытовой речи».<sup>30</sup> Эта характеристика полностью применима к агиографическим произведениям Евфимия Тирновского, но у Епифания мы найдем ряд своеобразных нарушений данного положения. Лексика Епифания в значительной степени «отделена от обычной речи», но не абсолютно: в его житиях мы встречаем слова и термины бытовой, деловой речи. В «Житии Стефана Пермского»: «отрок сы верстою», «после всех излазяше (из церкви)», «святыя книги писаше хитрей гораздо и борзо», «оступиша его . . . с ослобы и с великими уразы смерть ему нанести хотяще», «устремишася нань единаче с дреколием, друзии же от них мнози похвашаху топоры об одну страну остры» (далее Епифаний называет топоры секирами), «и в лесах находя и в привержках обретая» и т. д. Большой интерес в этом отношении представляет «Житие Сергия». Если мы сравним Троицкий список «Жития Сергия» (основной, по которому издан текст арх. Леонидом) с Синодальным списком Макарьевских Четий-Миней, в которых также читается епифаниевская редакция «Жития Сергия», то увидим, что во втором списке (Синодальном) ряд слов Троицкого списка заменяется более книжными, т. е. уже в XVI в. многие слова, употребляемые Епифанием, представлялись слишком «низкими»:

## Троицкий список

нечто писати от житна старцева  
 Не подобает житна нечестивых пытати  
 еще ли же старца свята  
 Откуда ли приобрящу хитрость  
 Младенець гласом начя велми верещати  
 верещающе  
 да покажется  
 грамоту  
 неси доспел в сие прясло

## Синодальный список

нечто писати от житна преподобнаго  
 Не подобает житна нечестивых писанию предати  
 еще ли же мужа свята  
 Откуда ли приобрящу мудрость  
 Младенець гласом велми провозгласи  
 провозглашающе  
 да явится  
 грамотикею  
 неси дошел в сие прясло

Издатель текста «Жития Сергия» арх. Леонид посчитал нужным приложить к изданию словарик «просторечных и старинных слов». К сожалению, словарик этот, насчитывающий 85 слов, неполон и неточен, а рассмотреть всю лексику житий Епифания Премудрого для выявления как сугубо книжной стихии в ней, так и бытовой было бы чрезвычайно интересно и необходимо.

Еще более, чем в лексике, в самом содержании многих эпизодов епифаниевских житий проявляется близость к конкретному быту: целый ряд описаний Епифания, хотя они и сделаны в стиле «плетения словес», весьма далек от абстрактности и приподнятости. Приведем несколько примеров из «Жития Стефана Пермского», более сложного и более риторичного, чем «Житие Сергия». «Болваны извааныя истуканыя, кумири ваши — древо суще бездушно, дела рук человеческ: уста имуть, и не глаголють, уши имут, и не слышат, очи имуть и не узрят, ноздря имут и не обоняют, руже имут и не осязают, нозе имуть и не пойдуть и не ходят и не ступают ни с места, и не възгласят грѣтанми своими, и не обоняют ноздрями своими, ни жрѣтв приносимых приимають, ни пияють, ни ядят» (стр. 133); «А еже повешаное около идол: или кровля над ними, или на приношение, или на украшение им принесенное, или соболи, или куницы, или горностаи, или ласици, или бобры, или лисици, или медведна, или рыси, или белки, — то все събрав, в едину кушу съкладе и огневи предасть я, кумира прежде

<sup>30</sup> Д. С. Лихачев. Культура Руси, стр. 53.

обухом в лоб ударяше, ти потом топором иссечаше я на малыя поленца и, огонь възнетив, обоє стараше огнем — и куча с кунициями и кумир вкупе с ними» (стр. 136); «Се бо Стефан и боги ваша раскопал ест, и не могоша его вредити, иже с нарочитых кумиров съимав пелены и помета отрочищу своему, именем Матфейку, и сътвори из них гаща и онуща и ногавица, и износи я без пакости и без вреда» (стр. 139); «Огню горящу и пламени распалющуся, преподобный же паче прилежаше, ем, понужая его, но и рукою яв за ризу влхва и крепко сожем его, похващаше и нудьма влещаше ко огню очима» (стр. 144); «Не бо ведал бывающаго, яко быти ему епископомъ темь, и не добивался владычства, ни вертелся, ни тщалься, ни наскакивал, ни накупался, ни насуливался посулы; не дал бо никому же ничто же, и не взял у него от поставления никто же ничто же — ни дара, ни посула, ни мзды» (стр. 148); «Топерво остохом добра промышленника и ходатая, иже был нам ходатай к богу и к человеком: к богу убо моляшеса о спасении душ наших, а ко князю о жалобе нашей, и о льготе и о ползе нашей, и ходатайствоваше и промышляше ко боляром же, к началом властем мира сего был нам заступник тепл, многажды избавляны от насилия и работы, и тивуньския продажа и тяжкыя дани облегчаны. Но и сами ти новгородци, ушкуйници, разбойници словесы его увещевании бываху, еже не воевати ны» (стр. 160). В «Житий Сергия» примеры подобного рода еще более обильны. Интересно отметить, что рассказы о чудесах, необычайных явлениях переплетаются с обыденными реалистическими зарисовками. Повествуя о чуде, когда Сергий, находясь еще в утробе матери, трижды громко «проверещал» в церкви, Епифаний вставляет такой эпизод в этот рассказ: услышав крик Сергия, «жены», находившиеся в храме, «приступльши к ней (матери Сергия, — Л. Д.), начаша въпрашати ю, глаголюще: имаши ли в пазусе младенца пеленами повита, его же глас младенческыи слышахом в всей церкви врещающе?», на это мать Сергия отвечает: «Пытайте, рече, — инде, аз бо не имам» (стр. 11). Младенец Сергий ничего не принимал в пищу по средам и пятницам. Обеспокоенная мать подумала, что ее сын болен, тогда «и с другими женами, с прочими кормителницами расматрюще беаше, мняше, яко от некия болезни младенцу приключашеса сие бевати, но обаче обзираху повсюду младенца, яко не болно, и яко не обреташеса в нем явления или не явления болезни, ни плакаше, ни стъняше, ни дряхловаше, но и лице и сердце и очи весели, и всячьскыи младенцу радостну сущу, яко и ручицами играше» (стр. 15). Обычный житийный мотив — самоистязание отрока и добровольный пост — у Епифания осложняется жизненными, обыденными деталями. Мать Сергия, видя, как сын истязает себя постом, «матерними си глаголы увещеваше его, глаголющи: „Чядо! не съкруши си плоти от многаго въздръжания, да не в язю въпаднеши, паче же младу ти еще сущу, плоти растуши и цветущи; никто же бо тако млад сый в ту връсть твою, такому жестоку посту касається“» (стр. 29). Очень реален и необычайно тепл для житийных памятников эпизод, рассказывающий о просьбе родителей Сергия повременить с уходом из мира. Сергий «многажды моляшеса отцу своему, глаголя: „Ныне отпусти мя, владыко, по глаголу твоему и по благословиению твоему, да иду в иночьское житие“. Родители же его рекоста ему: „Чядо! пожди мало и потръпи о наю: се бо в старостии в скудости и в болести есмы ныне, и несть кому послужити нама: се бо братиа твоа Стефан и Петр оженистася, и пекутся како угодити женама; ты же не ожививыиси печешиси како угодити богови, паче благую часть избрал еси, и яже не отимется от тебе; токмо послужи нама мало, да егда наю родителя своя, проводиши до гроба, тогда и свою мысль сътвориши; егда нас гробу предаси и землю погребеши, тогда и свое хотение ис-

пльниши“. Пречюдныи же уноша с радостию обещаея послужити има до живота ею, и от того дни тшашеся по вся дни всячьскыи угодити родителема, яко да наследит от них молитву и благословение» (стр. 36—37). Та подробность и то отношение, с каким Епифаний говорит в «Житии Сергия» о родителях святого, совершенно необычайное явление в агиографической литературе; по всей видимости, мотив этот находится в непосредственной связи с новым явлением в русских нравах и быте в конце XIV—начале XV в.: «В XIV—XV вв. постепенно складывается семейный быт русского с сильной властью отца, с высоким нравственным авторитетом матери, о котором много пишут в посланиях и грамотах XIV и XV вв. ... Можно привести множество примеров, доказывающих повышенный интерес к семье в литературе и в живописи XIV—XV вв.».<sup>31</sup> Рассмотренные примеры представляют большой интерес и в другом отношении. Касаясь вопроса о реалистических тенденциях в древнерусской литературе, В. П. Адрианова-Перетц отмечает, что «в историческом повествовании рядом с рассказами, жизненная правдивость которых была результатом не „реалистичности литературы, а реальности самой жизни, как бы перенесенной в литературу“,<sup>32</sup> появляются эпизоды, созданные при участии художественного вымысла и тем не менее жизненно правдивые, воздействующие на читателя не только исторической достоверностью изображения, но и художественной его убедительностью».<sup>33</sup> Нам представляется, что рассмотренные эпизоды и уж во всяком случае такие, как эпизод в церкви, как сообщение о постничестве младенца Сергия (ведь на самом-то деле этого не могло быть!), бесспорно могут быть охарактеризованы как «эпизоды, созданные при участии художественного вымысла», и хотя в целом их нельзя назвать «жизненно правдивыми», тем не менее отдельные детали их кажутся прямо взятыми из быта. Это сочетание художественного вымысла с жизненной правдивостью представляется нам явлением, очень характерным для творчества Епифания, восходящим к традициям ранней русской агиографии,<sup>34</sup> и резко отличает его от южнославянских агиографов того же времени.

Необходимо отметить, что в житиях Епифания мы можем обнаружить отражение фольклорных мотивов. Прежде всего это уже упомянутая выше своеобразная датировка Епифанием исторических событий. Похвальное слово Стефану Пермскому представляет собой три плача — «Плачь Пермских людей», «Плачь церкви Пермьская, егда обьвдове и плакася по епископе си» и «Плачь и похвала инока списающа». Как писал В. О. Ключевский, «такая оригинальная форма похвального слова безраздельно принадлежит одному Епифанию: ни в одном греческом переводном житии не мог он найти ее и ни одно русское позднейшее, заимствуя отдельные места из похвалы Епифания, не отважилось воспроизвести ее литературную форму».<sup>35</sup> На вопросе о книжных, литературных элементах в плачах, которые встречаются в памятниках древнерусской литературы, останавли-

<sup>31</sup> Там же, стр. 154 и 157.

<sup>32</sup> Д. С. Лихачев. К вопросу о зарождении литературных направлений в русской литературе. — Русская литература, 1958, № 2, стр. 7. Примечание В. П. Адриановой-Перетц.

<sup>33</sup> В. П. Адрианова-Перетц. О реалистических тенденциях в древнерусской литературе (XI—XV вв.). — ТОДРЛ, т. XVI. М.—Л., 1960, стр. 11—12.

<sup>34</sup> См. в настоящем сборнике статью В. П. Адриановой-Перетц «Задачи изучения „агиографического стиля“ Древней Руси» (стр. 41—71). Помимо отмеченного общего для конца XIV—начала XV в. интереса к вопросам семейной жизни, возможно, на Епифания оказали влияние и «семейные интересы» к ранним годам жизни святого у Нестора в «Житии Феодосия Печерского». В епифаниевском «Житии Сергия» могут быть отмечены даже текстуальные параллели с Несторовым «Житием Феодосия».

<sup>35</sup> В. О. Ключевский, стр. 94.

вается В. П. Адрианова-Перетц в работе «Слово о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя Русьскаго». <sup>36</sup> В этой статье она подробно рассматривает плач Епифания Премудрого в «Житии Стефана Пермского». Говоря о том, что Епифаний в силу жанровых особенностей своего произведения (житие) должен был быть весьма осторожным «в применении фольклорной поэтики» в своих плачах, В. П. Адрианова-Перетц вместе с тем отмечает, что «есть все основания думать, что и самый обычай бытового оплакивания покойников и содержание этих причетей он знал». <sup>37</sup> В. П. Адрианова-Перетц отмечает в епифаниевском плаче Пермской церкви и пермян ряд мотивов, «обычных и для народных вдовьих причетей». <sup>38</sup> Возможно, что Епифаний использовал даже отдельные фразеологизмы из текстов народного творчества. Фраза из Плача Пермской церкви — «Увы мне, кого к рыданию моему призову на помощь, кто ми пособит плакаться, кто ми слезы отреть, кто ми плачь утолить, кто ми печаль утешить?» — очень напоминает начальные строки из духовного стиха «Плачь Иосифа, Прекрасного»: «Кому повем печаль мою, Кого призову ко рыданию?» <sup>39</sup>

И Евфимию Тырновскому, и Епифанию Премудрому присуща характерная для агиографов периода второго южнославянского влияния черта — сообщение (обычно во вступлении и в заключении) автора о себе, о задачах своего труда, о истории труда. У Евфимия это всегда очень риторическое рассуждение, скорее общефилософского характера, чем конкретное сообщение о самом себе. «Се уже, яже о ономъ повести начяло намъ творящим, самау призвати убо будеть оного благодеть, яже от бога искръно ть приять обилне, яко да не от ненаучения погрешити искомое, рукама възнакама, яко же глаголет ся, священнымъ касающесе и паче достоинства яже оного поведующе, яко да не мнее слышателя отъщетьми, лучших ползу оставльше. Аще убо должимъ и тлеющимъ поне и мало умом внимал би божьствнейший съ мужь и о нечьсом земнемъ творил би попечение, въскоре того мимотещи хотехом память и забьвения отслати глубинамъ. Елма же предреченнаа въсе долу оставль, горнему внимааше отчьству, свободному и безбедному и тврѣдому, и въсецемъ образомъ тьщасе ся общааго постигнути отца и съдетеле, нужда и нам яже о нем отчясти съповедати. Яже бо иже прежде нас о немъ нехытре некако и грубе съписааша, сиа мы по лепоте, якоже ключимо есть, усрьдно съповедати потьщахом ся, известно ведяще, яко еже о отци повесть веселити обыче отцелюбезныхъ душу и к ревности въздвизати лучьшой» («Житие Иоанна Рыльского»). <sup>40</sup> «Единому бо будеть тьчию удобь та поведати Илариону, иже и душею и чюствомъ та обилне наслаждающомуся, егову ныне призвавше благодеть, аще и не по лепоте, обаче по възможному того съповемы деание и житие. Но якоже капля дъждевныя изчьсти не удобно, сице ниже сего деание и житие, разсеанна же мало негде обретше, в явление извести покушаемя. Верую бо, яко в сласть приметь, яко чядолюбивь отьцъ младенечная наша немотования. Аще ли от подобающаго далече негде останемъ, простить нам блаженаа она душа и въсекоя сладости испльненаа яко отьцелюбезнымъ чядомъ. Не поносить бо намъ о усрьдии, но и помощь дасть и съподспешитъ и руководствуетъ к истиннымъ сказаномъ. Вестъ бо, вестъ радоватися и спешити к искръннымъ ползи»

<sup>36</sup> ТОДРА, т. V. М.—Л., 1947, стр. 73—96.

<sup>37</sup> Там же, стр. 85.

<sup>38</sup> Там же.

<sup>39</sup> Ср.: П. Безсонов. Калекн переходже, вып. 1. М., 1861, стр. 187—199, №№ 40, 41, 42.

<sup>40</sup> Сочинения Евфимия Тырновского, стр. 6—7.

(«Житие Илариона Мегленского»)<sup>41</sup> В епифаниевских рассуждениях о задачах жития, о неисчислимости деяний и подвигов святого и так далее много общего с тем, что мы читаем и в житиях Евфимия Тырновского, но вместе с тем в рассуждениях такого рода у Епифания отчетливо выделяются и элементы конкретности, автобиографичности. Помимо еще более многословных, чем у Евфимия, и не менее риторичных общефилософских рассуждений, Епифаний ярко воссоздает конкретную историю написания им жития, говорит о реальных затруднениях, встававших перед ним, когда он брался за свой труд. Приведем для сравнения с евфимиевскими текстами отрывки из вступления к «Житию Сергия»: «Дивлю же ся о сем, како толико лет минуло, а житие его не писано. О сем съжалихся зело, како убо таковыи святыйи старецъ, пречюдныйи и предобрый, отнележе преставися — 26 лет преиде, — никто же не дрѣзняше писати о немъ, — ни далнийи, ни ближнийи, ни большые, ни меншии: большые убо яко не изволяху, а меншии яко не смеаху. По лете убо едином или по двою по представлении старцеве, аз окаанныи и вседрѣзыи дрѣзнул на сие, въздохнув к богу и старца призвав на молитву, начях подробну мало нечто писати от житиа старцеве, и к себе втайне глаголя: „Аз не хватаю ни пред кым же, но себе пишу, а запаса ради и памяти ради и ползы ради“. Имеях же у себя за 20 лет приготованы такового списания свитки, в них же беаху написаны некия главизны, еже о житии старцеве памяти ради: ова убо в свитцех, ова же в тетратех, аще и не по ряду, но предняя назади, а задняя напреди ... И отголе нужда ми бысть распытовати и въпрашати древних старцев прилежно, сведущих въистину известно о житии его, якоже святое глаголет писание: въпроси отца твоего и възвестит тебе, и старца твоя рекут тебе; елико слышах и разумех, отци мои поведаша ми, елика от старецъ слышах, и елика своима очима видех, и елика от самого уст слышах, и елика уведах от иже вслед его ходившаго время не мало и възлиавшаго воду на руже его, и елика другаа некаа слышахом и от его брата старейшаго Стефана, бывшаго по плоти отца Феодору, архиепископу Ростовскому ... Како могу аз бедныйи в нынешнее время Сергиево все по ряду житие исписати, и многаа исправления его и неизчетныи труды его сказати?» (стр. 2—5).

Итак, сравнение творчества двух наиболее известных русского и южнославянского агиографов конца XIV—начала XV в. показывает, что, несмотря на общие тенденции в творчестве обоих авторов, между их произведениями имеется ряд существенных различий. Общие веяния, характерные для конца XIV—начала XV в., нашли своеобразное, национальное отражение на юге славянства и на Руси.

Как известно, ко времени жизни и творчества Евфимия Тырновского и Епифания Премудрого относится еще одно южнославянское житие — «Житие преподобного Ромила», написанное учеником Ромила, монахом Григорием, в самом конце XIV—начале XV в.<sup>42</sup> От произведений Евфимия Тырновского это житие отличается гораздо большей простотой. «У нашего Григория мы видим больше простоты, больше естественности, больше реальности даже и там, где он мог бы дать волю своему воображению ... Даже и в тех случаях, когда он рисует картины из мира отвлеченностей, и там он прибегает к реализации отвлеченных предметов, которую иногда исполняет весьма удачно».<sup>43</sup> В «Житии Ромила» встречаются жизненные, реалистические эпизоды, народные выражения

<sup>41</sup> Там же, стр. 28.

<sup>42</sup> См.: П. А. Сыр к у. Монаха Григория Житие преподобного Ромила. СПб., 1900.

<sup>43</sup> Там же, стр. XVI.

в языке, автор употребляет поговорки и пословицы. В этом отношении «Житие Ромила» сближается с житиями Епифания Премудрого. Но вместе с тем «в Житии Ромила нет, собственно, „плетения словес“, т. е. пользования однокоренными и созвучными словами, ассонансами, синонимикой и ритмикой речи для создания своеобразного словесного орнамента»,<sup>44</sup> т. е. нет как раз тех черт, которые наиболее характерны для стиля Епифания Премудрого. †

Таким образом, сопоставление произведений Епифания Премудрого с современными ему южнославянскими памятниками агиографии показывает, что вопрос о взаимоотношении русских житий и южнославянских, написанных в период так называемого второго южнославянского влияния, очень сложен и требует всестороннего и обстоятельного исследования.

Наиболее последовательным и законченным выразителем принципов второго южнославянского влияния в русской агиографии, определившим характер дальнейшего развития этого жанра древнерусской литературы, считается Пахомий Логофет. Изучение житий, написанных Пахомием, имеет принципиально важное значение для исследования вопросов взаимоотношения русского и южнославянского агиографических стилей.

Творчество Пахомия на Руси охватывает значительную часть XV в. — 30—80-е годы, т. е. хронологически значительно более поздний период, чем время создания агиографических произведений Киприаном и Епифанием Премудрым. Этот факт уже сам по себе заставляет рассматривать творчество Пахомия в сопоставлении с творчеством его непосредственных предшественников на Руси, а также и с более ранними русскими житиями, что, на наш взгляд, делалось до настоящего времени недостаточно полно.

Вероятно, не без влияния епифаниевской похвалы-плача Стефану Пермской церкви написана Пахомием похвала новгородских церквей церковностроительной деятельности Евфимия, архиепископа Новгородского: «Прииди к великому храму Премудрости божия и возведи окрест очи свои, и тамо видиши пресветлыи храмы святых яко звезды или горы стояща, иже от него създаныя. Аще и не гласом — вещьми же вопиют и свою красоту по разньству поведающе, яко вещьми рещи: сия архиепископ Евфимие дарова ми. Иная же церкви яко хваляшеся и свое благолепие являючи, вещьми глаголет: сим мене украси. Иная же приглашает той, вещьми глаголет: и мне от основания воздвиже. Храм же великаго Иоанна Златоустаго, высоко стоя, иже от него създанный, и яко рукою того благословляет, глаголя: Понеже храм воздвиже на земли, аз умолю творца храмы тебе даровати на небесех. Великий же храм Премудрости божия, яко град царя великаго, посреде их стоя, иже многими леты обещавш, его же той обнови и в прежнее благолепие обнови и многими добротами и иконами украси, яко перстом того показывает, глаголя вещьми к нему: Се убо красота моя и похвала церкви, Евфимие великий!»<sup>45</sup> Вслед за этой похвалой Евфимию новгородских храмов Пахомий рассказывает о постройке Евфимием каменных палат и часозвони. Эта подробная характеристика построенных Евфимием каменных зданий архиепископского двора — единственный пример такого описания в агиографических произведениях Пахомия и, очевидно, в агиографии вообще. Эту особенность пахомиевского «Жития Евфимия» есть все основания

<sup>44</sup> Д. С. Лихачев. Некоторые задачи, стр. 53.

<sup>45</sup> Повесть о Евфимие, архиепископе новгородском. — Памятники старинной русской литературы, вып. IV. СПб., 1862, стр. 19.

объяснить влиянием новгородских литературных традиций. Одной из характерных особенностей новгородской литературы конца XIV—начала XV в., по наблюдению Д. С. Лихачева, был большой интерес к описаниям памятников искусства, архитектурных сооружений.<sup>46</sup> Таким образом, рассматривая творчество Пахомия Логофета, необходимо учитывать не только воздействие на него традиций русской агиографии, но и принимать во внимание и местные литературные традиции в целом, которые Пахомий, судя по приведенному примеру, учитывал, когда создавал свои произведения.

Агиографические труды Пахомия обычно оцениваются довольно низко. Вот, например, что писал о нем В. О. Ключевский. «Достаточно пересчитать творения Пахомия, приведенные в известность, чтобы видеть, для чего собственно было нужно на Руси его перо и что нового внесло оно в русскую письменность... Запас русских церковных воспоминаний, накопившийся к половине XV в., надобно было ввести в церковную практику и в состав душеполезного чтения... Для этого надобно было облечь эти воспоминания в форму церковной службы, слова или жития... В этой стилистической переработке русского материала и состоит все литературное значение Пахомия. Он нигде не обнаружил значительного литературного таланта; мысль его менее гибка и изобретательна, чем у Епифания; но он прочно установил постоянные, однообразные приемы для жизнеописания святого и для его прославления в церкви и дал русской агиобиографии много образцов того ровного, несколько холодного и монотонного стиля, которому было легко подражать при самой ограниченной степени начитанности».<sup>47</sup> Эта оценка во многом справедлива, но трудно согласиться с ней безоговорочно. Не все произведения равноценны. Так, сам же В. О. Ключевский выделял из остальных житий Пахомия «Житие Кирилла Белозерского».<sup>48</sup>

Очевидно, в тех случаях, когда Пахомий создавал оригинальные, собственные жития, а не перерабатывал уже имевшиеся, его произведения получались более интересными в литературном отношении. Тогда же, когда задача Пахомия сводилась лишь к переработке уже имевшегося жития, то перерабатывал он его прежде всего с целью сделать такое житие более подходящим для церковной практики. Поэтому такие жития Пахомия получались литературно более слабыми. Бесспорно, что Пахомий был менее талантлив, чем Епифаний Премудрый, но нельзя считать, что вся его литературная деятельность сводится лишь к стилистической переработке уже готового материала. Как мы уже могли убедиться, в «Житии Евфимия архиепископа новгородского» дается совершенно несвойственное житиям описание строительной деятельности святого. В «Житии Кирилла Белозерского» сообщается много интересных и ценных сведений из жизни этого святого, из истории созданного им монастыря, в житии приводится даже текст завещания Кирилла, весьма близкий к действительному документу. Вероятно, следуя не столько южнославянской традиции, сколько Епифанию Премудрому, Пахомий в своих житиях много говорит об истории создания им того или иного жития.

Отнюдь не отвергая убедительности примеров, приведенных В. Яблонским<sup>49</sup> для иллюстрации заимствований Пахомием из византийской и

<sup>46</sup> Д. С. Лихачев. Культура Руси, стр. 40—46.

<sup>47</sup> В. О. Ключевский, стр. 165—166.

<sup>48</sup> Там же, стр. 159—160.

<sup>49</sup> В. Яблонский. Пахомий Серб и его агиографические писания. СПб., 1908, стр. 275—284.

южнославянской агиографии, мы считаем, что необходимо также учитывать возможности воздействия на него и русской литературы: трудно представить, чтобы за полувековую жизнь на Руси, бывая в различных местах Русского государства, в разных монастырях, работая для русских читателей, Пахомий питался лишь византийскими и южнославянскими образцами.

---

Подведем некоторые итоги. Для успешного изучения взаимоотношений русского и южнославянского агиографического стилей прежде всего необходимо исследовать творчество Епифания Премудрого. Это диктуется не только проблемами изучения взаимоотношений русской и южнославянских литератур, но и недостаточной изученностью творчества великого писателя русского средневековья, современника Андрея Рублева. Едва ли подлежит сомнению, что, как и творения Рублева, ряд древнерусских житий и сказаний сохранил свое эстетическое значение до сих пор. Среди древнерусских агиографов, как и среди древнерусских иконописцев, были ремесленники, посредственные мастера, но были и талантливые художники и их творения, хотя они и дошли до нас в необычной современному искусству форме житий и икон, представляют и сегодня художественную ценность. Такая ценность произведений Рублева, когда-то далеко не всеми осознаваемая, в настоящее время бесспорна и теперь уже не требует особых доказательств. Творчество Епифания по своему словесному мастерству, по выраженному в его произведениях патриотизму может быть смело поставлено рядом с творчеством Рублева, и задача филологов-медиевистов объяснить это современному читателю. Эта задача будет наиболее успешно выполнена в том случае, если творчество Епифания Премудрого будет рассматриваться на фоне южнославянских агиографических памятников, сопоставляться как с творениями его предшественников, так и с произведениями его преемника в области агиографии — Пахомия Логофета.

Изучение творчества Епифания Премудрого в сопоставлении его житий с южнославянскими, а также исследование произведений Пахомия Логофета в сравнении их с творениями Епифания Премудрого помогут уяснить не только вопросы русско-южнославянских литературных связей, установить характер взаимоотношения русского и южнославянского агиографического стилей, но даст возможность глубже проникнуть в сущность вопроса о литературно-художественной специфике древнерусской литературы.

---